

А. Г. ВАСИЛЬЕВ, В. О. ВАСИЛЬЕВА

**ОБРАЗЫ «ИСТОКОВ ПОЛЬШИ»
В РОМАНТИЧЕСКОМ МЕМОРИАЛЬНОМ НАРРАТИВЕ
ФОРМИРОВАНИЕ СОБЫТИЯ***

Статья посвящена анализу образов «истоков» в польской романтической мысли. «Истоки» рассматриваются как события, созданные интеллектуалами, формировавшими посттравматический нарратив польской национальной памяти по итогам разделов страны во второй половине XVIII века. Работа основана на подходах memory studies, нарративного анализа и идеях московско-тартуской семиотической школы. Показан процесс формирования этнокультурной и государственно-территориальной моделей представления об «истоках» Польши, возникших в контексте культуры романтизма и оказавших влияние на последующую историю польской культуры.

Ключевые слова: *событие, нарратив, культурная память, национальная идентичность, польский романтизм, И. Лелевель, З. Доленга-Ходаковский, М. Мохнацкий*

Jego [Bolesława] słupy żelazne wbiły się
Mocno w pamięć narodu i są kardynalnymi
punktami popularnej mapy Polski

Adam Mickiewicz (1838)¹

*«Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha,
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.
Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polska!».*

Jan Pietrzak (1976)²

Польская национальная идентичность и соответствующие ей формы культурной памяти формировались в условиях утраты государственности. «Польские историки, – писал Н. Дэвис, – были заняты в первую очередь историей разделов. Падение старой Польши, его причины и последствия, остаются и до сегодняшнего дня главной страстью польской историографии. ...Пророки гибели и продавцы надежды составляют здесь прекрасную пару»³. С этой точки зрения, нарратив польской нацио-

*Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 14-01-00357а «Событие и время в европейской исторической культуре XVII – начала XX века».

¹ «Его (Болеслава) железные столбы прочно вбиты в память народа и являются кардинальными пунктами популярной карты Польши» (Адам Мицкевич).

² «Из глубин истории, из темных краев, вечных пущ, полей и степей, наше происхождение, наше начало, ген от Пяста, Крака, Леха, долгая цепь человеческих существований, соединенная простой мыслью, чтобы Польша была Польшей!» (Ян Петржак), – пер. А.Г. Васильева.

³ Davies 2001. P. 176.

нальной памяти периода разделов характеризовался маркированностью «конца», катастрофы разделов. Польская профессиональная историческая наука складывалась в период утраты государственности, и это наложило на неё неизгладимый отпечаток. Польские историки того времени занимались преимущественно отечественной историей. При этом, вне зависимости от проблематики и периода, разделы Польши составляли для них своеобразную общую перспективу смыслообразования. «...Общим построением польскими писателями их национальной истории придаётся тот или другой характер, смотря по тому, как разными авторами понимаются причины падения Польши. По всей польской национальной историографии XIX в. можно проследить влияние, какое оказали взгляды относительно причин гибели польского государства, на различные построения всей польской истории»⁴, – писал Н.И. Кареев. Однако понимание причин трагического исхода накладывало отпечаток и на видение «истоков», с которых «все началось». Таким образом, формирование национальной идентичности требовало создания целостного нарратива, соединявшего «начало» и «конец» определенной логической связью.

По мысли П. Рикера, одним из модусов «постоянства Я» является т.н. «нарративная идентичность». Она создается способностью рассказывать о себе историю и обеспечивать, таким образом, преемственность самосознания. Данное положение равно относится как к индивидуальной, так и к коллективной идентичности. В том и другом случае «Я наделено способностью конструировать повествование о самом себе, и это повествование служит посредником в акте самопознания, иначе говоря, в нарративном модусе. “Я” воспринимает себя как героя собственного рассказа о самом себе, как Другого, целостность и идентичность которого гарантирована связностью и экзистенциальной значимостью самого повествования»⁵. В этом процессе структурирования нарратива идентичности можно выделить определённую логическую последовательность. В первую очередь, в зависимости от задач и ситуации сегодняшнего дня, *выбирается временная перспектива*. Группа может смотреть в более или менее удалённое прошлое. Таким образом, событие может попасть в то или иное повествование, или же, напротив, быть из него исключённым. Социальная общность находит в истории тех или иных предков, выделяет принципиально важные для идентификации группы исторические события или периоды. Изменение степени отдалённости, глубины исторического прошлого, с которым связывает свою идентичность группа, может изменить образы предков, значимых событий или периодов, представления о своих истоках, в конце концов – саму идентичность.

Уход вглубь истории способен расширять границы «наших» предков и, соответственно, «нашей» идентичности практически до бесконеч-

⁴ Кареев 1888. С. 1.

⁵ Спиридонов 2010. С. 154.

ности. Поэтому то, насколько глубоко и в каком направлении произойдёт этот «уход», является социокультурной конвенцией, определяющей то событие, эпоху, этнокультурную и религиозную традицию, с которой данной общности следует себя идентифицировать. Между выбранными точками «мнемонического пространства» устанавливается *линия преемственности*. Требуется показать и доказать, что «всё это – наша история», «наша коллективная биография». Для этого требуется организовать образ исторического континуитета, неразрывной связи со «своим», от выбранных «истоков» и «предков» до современности. Ощущение непрерывности исторического существования социальной группы играет важную роль в поддержании чувства коллективной идентичности. Ещё М. Хальбвакс отмечал, что в коллективной памяти события прошлого должны выстраиваться и интерпретироваться так, чтобы члены социальной общности узнавали себя на каждом этапе истории, ощущали то или иное прошлое как «своё». Для этого исторические факты должны входить в культурную память группы, будучи выстроены в соответствии с принципами исторической преемственности, континуальности. Используются апелляции к неизменным «местам», пространствам, материальным объектам, памятникам и реликвиям, связь с которыми провозглашается для данной группы «естественной», неразрывной, подлежащей постоянному поддержанию и восстановлению (в случае угрозы разрыва). История страны будет составлять таким образом, чтобы в ней не было «перерывов постепенности», чтобы это были «та же самая страна», «тот же самый народ» на разных исторических этапах. Революции, войны, национальные катастрофы постоянно создают «разрывы» исторической ткани. Поддержание же идентичности требует ощущения непрерывности «нашей» истории. Поэтому коллектив, адаптируя новые явления и идеи, должен периодически проводить реинтерпретацию прошлого так, чтобы эффект новизны был утрачен и новое предстало продолжением исторической традиции. Прошлое в коллективной памяти постоянно подвергается реорганизации. В этой картине прошлого должны отсутствовать большие перемены и разрывы, чтобы группа могла узнавать себя в ней на любом историческом этапе.

В коллективном образе прошлого есть свои «периоды-фавориты» и «пустые» исторические периоды, своеобразные «вершины» и «долины» (Э. Зерубавель) коллективной памяти. Особенно хорошо это видно при сравнении национальных календарей памятных дат, которое показывает, что самыми насыщенными периодами являются или эпохи чрезвычайно удалённые во времени («истоки»), или же последние два столетия⁶. Между этими «мнемоническими пиками» пролегают «мнемонические равнины». Обозначая ряд событий в качестве однородных и принадлежащих, следовательно, одному и тому же периоду, коллективная память создаёт

⁶ См.: Zerubavel 2003. P. 31, а также - Zerubavel 2003a. P. 315–337.

одновременно и исторический дисконтинуитет, обозначает линии разрыва, отделяющие «свое» прошлое от «чужого». Определённые события получают статус «поворотных моментов истории», с которых начинается новая эпоха и происходит полный разрыв с прошлым.

События возникают как таковые благодаря нарративному способу отношения к реальности, а установление связи между событиями, в свою очередь, создает нарратив. Ключевым событием любого мемориального нарратива выступает «начало», «истоки». Ответ на вопрос, откуда мы произошли, «откуда есть пошла...» относятся к числу важнейших и наиболее чувствительных для коллективной памяти. Особый интерес к «истокам» и «корням» как к фактору, определяющему характер группы и её современное положение, не имеет, конечно, строго научных оснований. В принципе, как отмечает польский историк М. Кула, ничто не мешает тому, чтобы между «истоками» и современностью в действие вступили факторы, существенно повлиявшие на дальнейший ход развития так, что сегодняшний день оказывается практически с этими истоками не связанным⁷. Тем не менее, принципиально важным для организации коллективной памяти остаётся принцип генетизма, коренящийся в мифологическом мышлении и утверждающий, что происхождение определяет сущность. Поэтому особенно ожесточённые бои разворачиваются обычно вокруг концепций «начала истории» той или иной общности.

Идея общего происхождения, единых предков играет здесь большую роль. Ощущение совместного прошлого создает чувство единства и солидарности в настоящем. В случае больших социальных групп, где о реальном родстве говорить невозможно, общее происхождение создаётся генеалогическими мифами. Они конструируют «искусственное родство» членов социальной общности. М. Вебер считал веру в общее происхождение важнейшим условием существования этнической группы. Польский социолог С. Оссовский пишет об этом так: «При анализе обычаев в устойчивых и сплочённых социальных группах, не опирающихся на общность происхождения, мы почти всегда можем встретиться с тенденцией их уподобления, хотя бы и внешнего, группам, в которых членов связывает общность происхождения»⁸. В зависимости от конкретных современных обстоятельств, делающих необходимым сформировать чувство общности у того или иного набора социальных групп, «наши истоки и предки» могут меняться.

«Истоки» очень точно отвечают всем требованиям, которые нарратология предъявляет к событию. Основными характеристиками события являются, во-первых, его однократность (сингулярность), «беспрецедентная выделенность некоторой конфигурации фактов из природной неизбежности или социальной ритуальности», во-вторых, фрактальность, «от-

⁷ Kula M. 2004. S. 180-181.

⁸ Ossowski 1966. S. 110-111.

граниченность (наличие начала и конца) рассказываемого отрезка жизни⁹ и, наконец, в-третьих, его интенциональность, зависимость событийного статуса от ценностной направленности сознания, которое и придает определенному отрезку времени и всему, что там происходит, статус события, т.е. определяет его сингулярность и фрактальность. «Событийность, – пишет В.И. Тюпа, – это особый (нарративный) способ отношения человеческого сознания к бытию (альтернативный процессуальности и ритуальности), а событие – это нарративный статус некоторого отрезка жизни в нашем опыте. Ибо без нарративной (сингулярно-фрактальной) оформленности со стороны сознания ни о каких событиях невозможно помыслить, созерцая непрерывный поток происходящего вокруг нас»¹⁰. В рамках созданных «мнемонических континуумов», прошлое структурируется в соответствии с определёнными моделями, выбирается тип взаимосвязи. Важно, в какое повествование и в каком качестве будет включён тот или иной исторический сюжет. Эти мнемонические модели имеют социальное происхождение и играют решающую роль для наделения определённого события тем или иным значением. Э. Зерубавель пишет об этом так: «Я полагаю, что историческое значение событий существенным образом связано со способом их расположения в наших умах *vis-à-vis* по отношению к другим событиям», с их «структурной позицией в рамках таких «исторических сценариев», как «водораздель», «катализатор», «последняя капля»¹¹. В рамках этих «мнемонических континуумов» повествование может быть организовано, например, вокруг образов прогресса, упадка, циклизма, движения от упадка к возрождению и от возрождения к упадку. При этом для каждого конкретного культурного контекста характерно преобладание нарративов определённого типа.

Ключевое значение в построении сюжетов играют категории «начала» («истоков») и «конца» повествования. В зависимости от того, на какой из этих пунктов делается акцент и как они трактуются, формируется и отношение к событиям, помещаемым внутрь очерчиваемого ими пространства. «Категории “начала” и “конца” являются исходной точкой, из которой в дальнейшем могут развиваться и пространственные, и временные конструктивные построения. Акцентированность одной из этих категорий (начала-конца) отнюдь не обязательно подразумевает аналогичную структурную позицию другой, так как далеко не во всех системах они образуют парную оппозицию»¹². Для польского нарратива национальной памяти в той форме, в какой он формировался на протяжении «долгого XIX века», значение рамки, очерчивающей мнемонический континуум «своего» прошлого, имели два события – «истоки» и разделы Речи По-

⁹ Тюпа 2016. С. 15-16.

¹⁰ Там же. С. 17.

¹¹ Zerubavel 2003a. P. 12.

¹² Лотман 2000. С. 427.

сполитой. Внутри этого континуума основным событием было формирование и развитие «шляхецкой республики» XVI–XVII вв.

Память о прошлом выполняет две основные функции – легитимации и идентификации. Она должна объяснить и обосновать существующее положение вещей и восстановить целостность национального самосознания, непрерывность восприятия себя в истории. Вся польская культурная память в перспективе гибели государства и последующих страданий приобретает трагически-жертвенную окраску. «Категория “жертвы” – ключевой концепт для понимания польского подхода к польской истории»¹³, – подчёркивает Е. Доманьска. Но понимание жертвенности может быть двояким. Либо речь идёт о невинной жертве преступлений других, либо о жертве заслуженного наказания. События разделов могли создать фабулу как «оптимистической», так и «пессимистической» трагедии. Они могли оказаться главным событием истории духовного триумфа и нравственной победы. В этой перспективе сама военно-политическая слабость государства оборачивалась предметом гордости и воплощением особой миссии. В то же время, это могла быть история о заслуженной и закономерной расплате за ошибки, преступления, несовершенства социально-политического устройства, нарушение всеобщих законов истории и морали.

В зависимости от избранного «сюжета» «истоки» должны были выглядеть по-разному и выполнять разные функции в повествовании. Здесь уместно вспомнить концепцию функций «горячей» опции культурной памяти Яна Ассмана¹⁴. «Горячая» память имеет для культуры значение ориентирующей силы, которую Я. Ассман называет «мифомоторикой», а саму «горячую» культурная память – мифом, т.е. закреплённым и интегрированным до состояния «обосновывающей истории» прошлым вне зависимости от подлинности или же фиктивности этого образа. Миф – обращение к прошлому, с целью понимания настоящего и поиска ориентиров дальнейшего развития. В этом качестве память может выполнять две функции – *обосновывающую* и *контрапрезентную* (контрафактическую). В своей обосновывающей функции миф показывает прошлое как осмысленное и подтверждающее необходимость настоящего порядка

¹³ Domańska 2000. P. 257.

¹⁴ В этой концепции подчёркивается, что содержание культурной памяти может по-разному структурироваться в зависимости от интересов и видения мира той или иной социальной общности, в рамках которой создаётся этот «мемориальный нарратив». Культурная память может быть «горячей» и «холодной». «Горячая» культурная память ориентирована на динамику, развитие. Она концентрируется на уникальном, неповторимом в истории, переломных моментах взлёта, упадка, становления. «Холодная» опция культурной памяти, напротив, призвана сопротивляться изменениям и поэтому обращается ко всему регулярно повторяющемуся, неизменному, создавая образ прошлого как «вечного настоящего». Стимулировать «горячую» опцию более склонны «парии», низшие, угнетённые слои общества, заинтересованные в переменах. Господствующие классы, напротив, стремятся «охладить» память для увековечивания своего положения.

вещей. Контрапрезентная функция связана с ощущением несовершенства настоящего и обращением к прошлому как к «золотому веку», «героической эпохе». Здесь настоящее критикуется с точки зрения «прекрасного прошлого», сравнение с которым раскрывает всё несовершенство текущего положения дел. В определённых условиях обосновывающий миф может превратиться в контрапрезентный, а в экстремальных ситуациях (угнетения, обнищания, иноземного владычества) контрапрезентный миф становится революционным. Тогда образ прошлого превращается в социально-политическую утопию и может стать целью движений мессианского, хилиастического типа. «Контрапрезентный» сценарий, воплощенный в романтическом направлении польской историографии, отказывался признать закономерность разделов. Поэтому основная роль «истоков» в контрапрезентной романтической версии памяти заключалась в том, чтобы показать неправомочность и противоестественность произошедших в конце XVIII в. событий, их полную несовместимость с самой «сущностью» польской истории, которая была заложена уже в самых ее «истоках». «Оптимистическая» версия была «контрапрезентной», так как она концентрировалась на образах величия Речи Посполитой и отказывалась принять нормальность существующего в период разделов положения вещей. Поэтому распад государства был результатом насильственного внешнего вмешательства и внутренней измены. Идеал свободы, воплощение которого составляло смысл польской истории, был заложен изначально и получил наибольшее развитие в триумфальном для польской истории периоде формирования «шляхецкой республики» XVI–XVII вв. и расцвета «золотой вольности» благородного сословия.

В «пессимистическом» сценарии, разработанном прежде всего «краковской исторической школой», смысл разделов выявлялся путём показа неизбежности произошедшего, сопровождаемого призывом извлечь из этого уроки. «Пессимистическая» историография имела «обосновывающий» характер. Она стремилась нормализовать национальную идентичность, говоря о коренных пороках социально-политического устройства страны, которая закономерно шла к трагическому финалу, не замечая за мнимыми триумфами неизбежности конца. Здесь образ «истоков» также играл важную роль, но если оптимисты подчеркивали «демократический» характер раннего польского общества, то их оппоненты, напротив, указывали на благотворную, по их мнению, сильную королевскую власть у истоков польской истории. Период расцвета «шляхецкой демократии» выглядел здесь уже не как воплощение изначального смысла польской истории, а как патологическое отклонение от «нормального» пути развития, который привел все окружающие Речь Посполитую государства к созданию сильных централизованных абсолютистских монархий и сделал для них возможным уничтожение исторически обреченной Речи Посполитой. Если в «пессимистическом» нарративе основной акцент сделан на «конец», гибель государства как

закономерный итог уклонения от «нормального» хода развития, то в «контрапрезентном» романтическом оптимистическом нарративе на «истоки» падает большая смысловая нагрузка: образ «истоков» призван утвердить обоснованность бытия Польши, правильность и органичность ее исторического пути, всемирно-историческую миссию польской культуры, изначальную целостность польского общества, а также лишить принципиальной значимости национальную катастрофу, представив ее как случайность, вызванную несчастливым стечением внешних обстоятельств и внутренних проблем. К данной конструкции вполне применимы характеристики, которые дал подобным системам Ю.М. Лотман: «системе с маркированным началом при немаркированном (или слабо маркированном) конце... будут соответствовать все тексты о “золотом веке” как исходной точке истории человечества...», «...структуры с отмеченным началом соответствуют культурам молодым, самоутверждающимся, осознающим факт своего существования. Для этих культур будет свойственно осознание самих себя как непротиворечивых и целостно-ценных. Конфликт будет вынесен вовне...»¹⁵.

Мы сосредоточим внимание на представлениях о «начале» польской истории в романтической версии нарратива национальной памяти. В польской исторической традиции сосуществуют два мифа о «начале Польши» – языческий и христианский, миф о крестьянине Пясте, ставшем королем и основателем династии, и миф о новом рождении страны с принятием христианства Мешко I в 966 г. Чеслав Дептула, один из ведущих современных исследователей польской историографии и исторической культуры пишет об этом так: «Переломный период правления Мешко I и Болеслава Храброго создавал во всех преданиях о происхождении польского средневековья «второе Начало» Польши. Это христианское Начало содержало в себе дополнение ценности языческого Начала и давало объяснение его роли в направляемом Богом историческом процессе. На высшем духовно-моральном уровне народ повторял акты своего формирования. Он снова их актуализировал в новом измерении значений, которое создавало «христианское обновление генезиса Польши»¹⁶. Первый «исток» содержал в себе идею «народного духа», «народной культуры» преимущественно этнографическом смысле, которую следовало бережно хранить, а второй – идею польского государства, европейской христианской державы, которая должна быть восстановлена в ее «первоначальных границах». Первая версия образа «истоков» представляла собой праславянскую утопию. Говоря о ее бытовании в начале XIX века, исследователь польской интеллектуальной культуры Ежи Едлицкий¹⁷, выделяет три «проективных мифа о прошлом». Во-первых, это миф о

¹⁵ Лотман 2000. С. 428-429.

¹⁶ Deptula. 2000. S. 319-320.

¹⁷ Jedlicki 2002. S. 63-73.

культурном отличии Польши от Европы и возрождении праславянской народной традиционной культуры Зориана Доленги-Ходаковского (Адама Черноцкого) (1784–1825). Во-вторых, Вавжинец Суворецкий (1769–1827) создал образ высокоразвитого ремесленно-торгового древнего славянского мира, опережающего своим развитием остальную Европу. И, наконец, выдающийся историк-романтик Иоахим Лелевель (1786–1861) нарисовал картину изначальной демократии и общинного самоуправления, свойственных славянским народам с глубокой древности, их предназначенности к реализации в европейской и мировой истории идеи свободы и гражданственности. Как справедливо отмечает Мария Яньон, «наибольший успех в романтизме и позднее снискали Лелевель и Ходаковский»¹⁸. Именно к ним мы и обратимся в дальнейшем.

Интерес к историческим корням своего народа был общим интеллектуальным трендом европейской культуры рубежа XVIII–XIX вв, но в польском случае он имел особое значение. Только что исчезло в результате разделов государство, Речь Посполитая, республика шляхецкого «народа». Обращение к доисторическим первоисточкам могло казаться в такой ситуации компенсацией поражения, нанесенного историей польскому государству, своеобразным ответом на вопрос одного из сослуживцев Марка Блока в терпящей поражение в 1940 г. французской армии (с него историк начинает свою рефлексию над сущностью исторической науки) – «Надо ли думать, что история нас обманула?»¹⁹. Даже, если так, то уж на предысторию можно будет положиться! Занятия доисторической славянской древностью обещали открыть такие прочные основания национальной самоидентификации, над которыми уже не были властны никакие политические превратности и дипломатические игры великих держав. Эти истоки покоились в таких глубинах «времени большой длительности», на которые абсолютно не могли проникнуть возмущения от поверхностных политических происшествий. «Можно говорить, – пишет исследовательница польской культуры Алина Витковска – о своего рода славянской фиксации, которая охватила поляков в начале XIX в. В итоге она, конечно, способствовала развитию исследований в области славяноведения, предыстории, а также истории раннего средневековья, но все же не чисто интеллектуальные устремления питали эту горячку познания, эту устремленность к доисторическому мраку, охватившую не только ученых, но и обычных статистов на сцене национальной истории. Только жажда познать себя, определить свое сознание “сегодняшнего дня” могла сделать столь притягательным и социально значимым это путешествие во времени к Лехам, Пястам и Попелям, ко временам детства народа»²⁰.

¹⁸ Janion 2006. S. 51.

¹⁹ Блок 1986. С. 7.

²⁰ Witkowska 1969. S. 4.

На формирование этого облика праславянской древности повлияли, с одной стороны, образы «доброе дикаря», невинного первобытного человека Руссо, а с другой – предромантические идеи Гердера о неизменных качествах народов, подобно биологическим видам Линнея надежных «врожденными природными свойствами». Небольшой фрагмент сочинения Гердера «Идеи к философии истории человечества», посвященный славянским народам, оказал очень большое влияние на представления славянских мыслителей о «национальном характере» и «историческом предназначении» славян²¹. Их описание у немецкого философа очень напоминает картины счастливой Аркадии: «Повсюду славяне оседали на землях, оставленных другими народами, – торговцы, земледельцы и пастухи, они обрабатывали землю и пользовались ею; тем самым после всех опустошений, что предшествовали их поселению, после всех походов и нашествий, их спокойное бесшумное существование было благодатным для земель, на которых они селились. Они любили земледелие, любили разводить скот и выращивать хлеб, знали многие домашние ремесла и повсюду открывали полезную торговлю изделиями своей страны, произведениями своего искусства. ...и, как того требовал их характер, вели веселую музыкальную жизнь. Они были милосердны и гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, враги разбоя и грабежей»²².

В интеллектуальной культуре той эпохи большим влиянием пользовался принцип генетизма, в соответствии с которым понятие сущности явления означало необходимость реконструировать его архаические истоки. Примерно через сто лет функционалисты будут критиковать этот подход как метод поиска одного неизвестного при помощи другого неизвестного, но в интересующее нас время подобный взгляд казался самоочевидным. Славист-романтик Вавжинец Суrowецкий писал: «Последующие поколения наследуют общие черты своих предков; обычаи, мнения, предрассудки, просвещение, недостатки и доблести, которые сегодня руководят нашими поступками, часто берут свой исток в давних временах наших прадедов. Поскольку сомневаться в этом невозможно, то легко прийти к выводу о том, как важно должным образом знать первоисток всего этого... Тот, кто знает исток своего счастья, лучше его ценит и в большей мере может им воспользоваться; тот, кто осознает первое звено последующего зла, без труда порвет всю эту цепь»²³.

Сфера славянских древностей не была простым объектом научного интереса в более позднем, позитивистском смысле этого слова. Она имела много общего со сферой «сакрального» в том его понимании, которое было предложено Дюркгеймом. Мир сакрального принципиально отде-

²¹ См.: Moroz-Grzelak 2006. S. 15-58.

²² Гердер 1977. С. 470-471.

²³ Surowiecki W. 1812. S. 85.

лен от мира профанного, он должен быть оберегаем от осквернения (например, со стороны ученого неславянского происхождения, который не мог понимать и чувствовать славянскую культуру, как полагали тогда многие романтики), обращение к нему требует соблюдения специальных правил обращения со «священными вещами» и руководства со стороны посвященных специалистов по коммуникации с миром священного. Говоря об исследователях этого времени довольно трудно бывает отделить ученого от поэта-пророка, а научные методы от сакрального акта проникновения в глубины народного духа. Если иметь в виду религиозный по своей сути характер национализма как культурного явления, раскрытый Б. Андерсоном, то это выглядит вполне закономерно.

Особую роль в создании образа доисторической славянской древности и самих основ современной польской фольклористики и этнологии сыграл Зориан Доленга-Ходаковский. Самым важным в этом отношении его сочинением стала работа «О славянстве до христианства» (1818). Основной своей задачей он полагал выведение из забвения языческого славянского прошлого. Само по себе обращение к славянскому прошлому не было чем-то абсолютно новым в тогдашней польской литературе, новым было, как отмечает Юлиан Машлянка, «его понимание у Ходаковского. Если предшественники понимали прошлое слишком обобщенно, как историю рода человеческого – Воронич, Потоцкий, – интегральной частью которой становилось прошлое славянских народов, то Ходаковский сделал главный акцент на племенном отличии славян и противопоставил его идее христианского универсализма, как чуждой, по его мнению, польскому духу»²⁴. Отсюда вытекало и его критическое отношение к христианству, как к силе, которая уничтожила память об исконной, «истинной» славянской культуре. «Всмотримся в нашу землю, – пишет Доленга-Ходаковский, – кто знает, быть может окажется, что славяне оставили нам ее как святую книгу, которая полностью не может быть уничтожена. Быть может, имея такое намерение, они на земли эти по своему обычаю наложили заклятие, чтобы никогда она не перестала быть наследием их потомков, и в этом своем стремлении в согласии со своей мудростью и простотой покрыли ее своими названиями, чтобы дать свидетельство будущим поколениям»²⁵. Поскольку от этой культуры не осталось письменных источников, то особое значение приобретали полевые исследования топонимики и фольклора, а также археология, поиск материальных следов языческого прошлого.

Зориан Доленга-Ходаковский стал одним из первых в европейской науке теоретиком и практиком полевых исследований в области фольклористики (антропологии), занимался изучением топонимики, наносил на карты курганы и городища. Все эти памятники и топонимы были для

²⁴ Maślanka 1963. S. 29-30.

²⁵ Dołęga Chodakowski 1967. S. 46.

него своеобразными письменами, а вся славянская земля книгой, которую требовалось прочитать. Им был создан очень влиятельный для последующей польской культурной памяти миф о славянстве. Славянская древность была представлена как стертая из памяти введением христианства культура, доступ к которой может дать не только и не столько рациональные методы исследования, сколько интуитивное проникновение вдохновенного духа, способного в экстазе перенестись в мифологическое прошлое. Себя он также воспринимал как своеобразное воплощение языческого жреца-пророка. «Формируясь по чужому образцу, мы в конце концов стали чужими сами себе», – пишет Ходаковский. Его проект заключался, таким образом, в том, чтобы вернуть славянам их память и своеобразную идентичность. Доленга-Ходаковский проводит стратегию определенной экзотизации славян в Европе, отстаивая их непохожесть на другие народы и представление их в качестве жертвы колонизации со стороны латинской европейской культуры, стершей их память и идентичность. Самого себя автор позиционировал в качестве представителя этой погибшей культуры, странствующего с посохом и котомкой «дикаря», чуждого академическому миру и светским салонам.

Важную роль в формировании образа «истоков», определивших историческую судьбу и историческую миссию Польши, сыграл выдающийся историк-романтик Иоахим Лелевель. Именно им (и Адамом Мицкевичем) прежде всего была создана романтически-мессианская версия польской истории, наложившая отпечаток на всю последующую историю польской культуры. Применительно к образам «истоков» нужно прежде всего вспомнить концепцию исконно присущего славянам, по его мнению, общинного самоуправления, *gminowładstwa*. Согласно концепции Лелевеля, славяне создали уникальную систему социальной организации, основанной на общинной демократии и правлении родовых старейшин. У славян царило равенство и отсутствовали сословия, касты и рабство. Также Лелевель рассматривал вопрос о происхождении славян. В это время начали активно развиваться сравнительно-историческое языкознание и индоевропеистика, обнаруживалось все больше черт сходства различных групп европейских языков (в т.ч. славянских) с санскритом. Теория индийского происхождения славян была довольно популярна среди польских славистов (Суровецкий, Скороход-Майевский и др), но Лелевель не поддерживал эту концепцию, защищая автохтонную теорию происхождения славян. Он писал: «такой большой и многочисленный народ как славянский не приходит, а лишь вырастает на месте»²⁶. Эту версию поддерживали в то время и чешские исследователи во главе с Й. Шафариком. Славяне, в соответствии с автохтонной теорией, провозглашались исконным (более древним, чем германцы, что особенно было важно в тех политических обстоятельствах) населением Европы.

²⁶ Lelewel J. *Dzieje Polski* (1829). Цит по: Rudaś-Grodzka 2013. S. 31.

Для исторической политики автохтонизм, как правило, обладает ценностью важного символического ресурса, позволяющего обосновать свою особую значимость, ценность и культурно-цивилизационное превосходство. Славяне оказывались одними из главных творцов европейской цивилизации, а не жителями ее варварской периферии.

Идея автохтонного славянского народа, наделенного всемирно-исторической миссией, позволяла сформулировать польскую национальную идею в период утраты государственности, когда политическое обоснование существования нации представлялось невозможным. Однако романтическая концепция заключенного в древнейшей предыстории «народного духа», не подверженного никаким историческим превратностям, могла лечь в основание идеи стабильного существования польского народа и гарантировать его историческую роль даже и в период утраты государственности в результате разделов²⁷.

Одним из ведущих представителей второй, «политическо-государственной» версии образа «истоков» был публицист и литературный критик Мауриций Мохнацкий (1803–1834). Он исходил из существования «исторического права» польского народа на свое государство в тех границах, которые существовали перед разделами. Границы страны должны были поддерживаться в национальной памяти польскими интеллектуалами с тем, чтобы территориальная реставрация стала когда-нибудь возможна. Мохнацкий также говорил о «вечной Польше», но, в отличие от славянофилов, это понятие имело у него территориально-политический смысл, от Прибалтики до Днепра. Первый раз эта программа была им сформулирована в 1828 г. в работе «Голос гражданина с Познаньщины к Сенату Польского Королевства по поводу Сеймового суда». Он писал, что «...мысль об объединении в одно целое разорванных частей нашей Родины является последней, еще не захваченной крепостью, в которой нашла себе убежище наша судьба»²⁸. Родина сегодня, отмечал Мохнацкий, это «великая мысль о политической независимости и надежда», Польша сегодня, это именно такие мечты, – подчеркивает он. Причем это мечты о восстановлении государства в его совершенно конкретных территориальных границах перед разделами. Мохнацкий подчеркивает, что Отечество нужно не изобретать и измышлять заново, а просто воскресить. В отличие от славянофилов, он не был склонен к идее соглашения с Россией на почве общей «славянской идеи», а, напротив, считал Польшу оплотом, предназначенным защищать Европу от российской экспансии.

²⁷ «После утраты независимости, в период Варшавского герцогства или Конгрессового Королевства, народ перестал отождествляться исключительно с государством. В публикациях того времени появились аргументы в пользу древности польского (славянского) народа, существовавшего задолго до рождения государства» (Rudaś-Grodzka 2013. S. 46).

²⁸ Mochnacki M. Głos obywatela z Poznańskiego do senatu Królestwa Polskiego z okazji Sądu Sejmowego. Цит. по: Rudaś-Grodzka 2013. S. 50.

Он считал Польское королевство, соединенное с Российской империей династической унией (форму существования польской государственности, созданную Венским конгрессом), политической химерой. В ходе Ноябрьского восстания он выступал с наиболее радикальных позиций, требуя отрешения от польского трона Николая I и восстановления Речи Посполитой со всеми ее частями и провинциями, вошедшими в состав Российской империи. В статье «Польская реставрация», опубликованной в 1831 г., он утверждал: «польский вопрос... это реставрация и акт национальной памяти, пробужденной от долгой летаргии». «Не утопия мудрствующих теоретиков, но древняя болеславовская или ягеллоновская монархия найдет друзей и свое место в современном порядке вещей»²⁹.

Идее поиска древних славянских истоков, характерных для славянофильского движения тех времен, он противопоставил возвращение к иному, государственно-имперским истокам, идею реставрации полиэтничной Речи Посполитой вместо славянского единства. Своего знаменитого тогда современника Доленгу-Ходаковского Мохнацкий практически не упоминает, у него, – пишет современная исследовательница, «...мы не найдем типичного для тех времен энтузиазма в отношении праславянской древности. Можно сказать, что в славянофильстве, в том виде, в каком оно развивалось в то время, Мохнацкий видел скорее угрозу для идентичности, чем поддержку для польской самоидентификации»³⁰. Во времена пястовской монархии видел он прежде всего «поэтические времена», «времена огромной мощи», когда «у нас в жизни была настоящая поэзия, но никто не передал ее следующим поколениям в произведениях поэтического гения»³¹.

Главным местом памяти здесь становились не абстрактные доисторические праславянские времена, а исторические герои и события прежде всего раннесредневековой польской истории. Основное место среди них занимал Болеслав Храбрый (967–1025), сын Мешко I, с образом которого польская историческая традиция прочно ассоциирует представления о державной мощи и величии государства. Мохнацкий пишет: «Всмотримся, к примеру, в век Болеслава Великого. Владения Болеслава ширились, господствовала мощная мысль, великая гениальная идея, в соответствии с которой этот выдающийся муж, скажем так, исполнял роль наместника для всех славянских народов. Мысль их единства, силы, славы! Болеслав распространял эту идею своей саблей, не допуская того, чтобы противоположная идея германизма в славянских странах, тогда не менее мощная, прекрасная, воинственная, могла получить над ней превосходство. Он был не только польским королем, но одновременно распространял свое покровительство на всех славян. Этой чертой отмечены

²⁹ Mochnacki 1836. S. 90.

³⁰ Rudaś-Grodzka 2013. S. 104.

³¹ Mochnacki 1985. S. 100.

его войны с немцами ... Однако он смог сделать очень много в этом направлении, потому что им владел дух славянских племен, сколь необычайный, столь же и сильный; под стать столь же необычайным, и требовавшим прямо-таки нечеловеческой силы тогдашним обстоятельствам. Верой укрепляет, придает сил; распространяет свет; кладет предел своеволию и беспорядку, громит врагов; умножает их владениями свои. От Одры до Днепра неутомимый посланец, предводитель и солдат, законодатель и хозяин дает государству безопасность и устанавливает внутрениний порядок. Унаследовав от своего отца – как сказал Нарушевич – «обширную никчемность», передает в наследство потомкам достаток, славу и страх, внушаемый его именем. А что за люди его окружали? А что за бояре с дикими, лесными сердцами, отважные, воинственные, покрытые доспехами? А что за старшина? Вызовем же все эти образы из своей памяти!»³². Таким образом, альтернативным «истокком» был образ великой империи, объединявшей славянские народы, империи, которая должна быть восстановлена в своем первоизданном (т.е. в границах 1772 года, на момент первого раздела) виде.

Если в первом варианте, актуализирующем праславянские истоки, ведущую роль играла работа воображения, реконструировавшего картины «исконного» славянского образа жизни в разных его вариантах от картин языческой дикости до образов цивилизованного общества с развитыми торговлей, ремеслом и письменностью, то во втором случае большую роль играло «географическое воображение». История должна была удостоверить исконность, вечность и неизменность польских границ, а задачей интеллектуалов было не дать этой «воображаемой карте» Речи Посполитой стереться из национальной памяти.

В формировании образа прочных и устойчивых, не подверженных превратностям времени, польских границ образ Болеслава Храброго играл важную роль. Именно с его именем связано летописное предание об установлении пограничных железных столбов, которые должны были раз и навсегда обозначить границы его королевства. В «Хронике» Галла Анонима (XII в.) сказано, что после похода на «неукротимых саксов» Болеслав «...in flumine Sale, in medio terre eorum, meta ferrae finis Poloniae terminavit» («определил границу Польши по реке Сале, в центре их страны, железным столбом»). В «Анналах» Яна Длугоша (XV в.) говорится об аналогичных действиях короля на востоке и западе (Болеслав сравнивается в этом своем деянии с Геркулесом): «Boleslavus deinde... tres in flumine Dnyeper in eo loco, ubi fluvius Szula miscet se fluvio Dnyeper, ex solido ferro columnas, que et in eam diem permanere asseruntur pro g(r)adibus perpetuis locat, qui in flumine Szovala in occidente tres postea locavit» («Затем Болеслав... три колонны из чистого железа поместил на вечные времена в реку Днепр, в том месте, где река Сула сливается с

³² Mochnacki 1985. S. 100-101.

Днепром, которые, как уверяют, сохранились по сей день, потом он поместил еще три на реке Солаве, на западе»); Ян Длугош сообщает также о походе на Пруссию, после которого «...Boleslaus Rex Regni sui Poloniae in fluvio Ossa, quod Poloniam Prussiamque disternit, perpetuos g(r)ades, ferream videlicet columnam in flumines medio, quartali milliaris ab oppido Rogoszno, inter Lyaszin et Rogoszno unde et villa ad gades huiusmodi sita. Slup a columna vocabatur. Propagandi siquidem Boleslaus fines Regni sui Poloniae et ne umquam propagate eonfundi possent, incensus, duiternitatis quoque cupidine ardens, status ferreas et in Oriente et in Occidente et in Septentrione locavit». («... Болеслав, король своего Польского королевства, <установил> на реке Осса, которая разделяет Польшу и Пруссию, в вечное свидетельство колонну, а именно из железа, посреди реки, в четырех милях от города Рогозьно, между Ласиным и Рогозьно, отчего и деревня у того знака расположенная называется Слуп, то есть Столб. Ибо горячо желая распространения пределов своего Польского королевства, а также того, чтобы, будучи раз расширены, они никогда уже не могли быть уничтожены и были бы устойчивы, Болеслав установил такие железные столбы и на Востоке, и на Западе, и на Севере»³³.

Во время Первой мировой войны, в 1916 г. в Кракове к этому сюжету обратился польский историк-любитель, писатель и публицист, участник Январского восстания Франтишек Равита Гавроньский в работе о «столбах Болеслава Храброго». Это было время подъема новой волны польского национального романтизма, оживления надежд на скорое восстановление государственности, что делало вопрос границ и их историко-культурного, политического или этнографического обоснования весьма актуальным. Интересно, что образ «империи Болеслава Храброго» в работе Гавроньского, как и у Мохнацкого, прочитывается в контексте идеи Польши как передового отряда европейской цивилизации, «польской миссии на Востоке». Он пишет: «взятие Киева было фактом огромного значения для современников. Речь идет не о политическом значении, в тогдашнем Киеве его некому было оценить. Но о, скажем так современным языком, военном значении, очевидном каждому. Первый раз киевляне увидели перед своим городом не орды тюрок, печенегов или (позднейших) половцев, разбойничьи и дикие, но войско, вооруженное мечами, закованное в доспехи, с великолепной западноевропейской организацией, которая придавало ему необычайную мощь, перед которой открылись ворота города, рассеялась княжья дружина, а князь их бежал, чтобы далеко на севере найти себе защиту. Нетрудно догадаться, какой страх и покорность охватили киевлян перед столь великой вооруженной силой, что они едва ли могли ее себе представить. Как приветствовали его смиренно, так и признавали его власть – молча. ...В те времена это была самая дальняя граница Европы, последний рубеж,

³³ Латинские тексты цит. по: Gawroński 1916. S. 5-6. Пер. А.Г. Васильева.

которого вместе с оружием Болеслава Великого, в первый раз достиг свет западной культуры, хотя бы только и в виде оружия...»³⁴. Этот фрагмент интересен тем, что в нем можно увидеть возрождение своеобразного «ориенталистского» (в смысле Саида) колониального взгляда на Восток, которое было характерно и для тех польских романтиков начала XIX в., которые, как Мохнацкий, связывали свою идею будущей Польши с реставрацией Речи Посполитой как полиэтничной империи.

Гавроньский задается вопросом, почему именно на Днестре, а не в Киеве (Днепр во времена Болеслава Великого протекал несколько в стороне от тогдашних границ города) установил польский король знаки своего господства и отвечает на него так: «Его <Киева> взятие было лишь делом славы его оружия. Совершенно иное значение в его глазах мог иметь Днепр как рубеж Европы и Азии, до которого он добрался первым из князей Европы»³⁵. Нетрудно упрекнуть здесь автора в анахронизме и приписывании польскому правителю рубежа X–XI вв. современных автору политических представлений о европейской миссии Польши. Он и сам это, видимо, чувствует, специально выделяя слова «мог иметь» в приведенном выше отрывке. Однако через несколько страниц направление взгляда меняется, автор начинает смотреть на ситуацию с перспективы будущего Польши как объекта завоевания и колонизации со стороны империи, которая во времена Болеслава зарождалась в Киеве. Он отмечает, что именно «здесь, над колыбелью Рюриковичей стоящие столбы были грозным напоминанием не только о победе, но и предостережением на будущее эмблемой власти и вождя польского оружия. Столбы стали воплощением идеи превосходства, угрозой для династии, хоть еще и молодой, но уже устремлявшей на запад свои захватнические усилия»³⁶. В самом конце повествования автор делает несколько неожиданный поворот, который вновь возвращает нас в эпоху романтизма начала XIX в. Не упоминая никаких имен и не делая никаких ссылок, полагая, очевидно, что для читателя все будет ясно и так, Гавроньский начинает обсуждать генезис легенды о «железных трубах», лежащих в Днестре и звучащих от движения волн.

Здесь требуются некоторые пояснения. В 1838 г. польский поэт-романтик, участник Ноябрьского восстания Люциан Иполин Семеньский (1807–1877) опубликовал поэму «Трубы в Днестре», которая опиралась на предания. Основная идея произведения – идея сильной и воинственной Польши, апология Болеслава Храброго. Его правление становилось образцом для будущего, прежде всего расширение и укрепление Болеславом польских границ, символом чего и стали «трубы в Днестре». «Болеславовский миф стал основой и для пястовского, и для

³⁴ Gawroński 1916. S. 30-31.

³⁵ Ibid. S. 38.

³⁶ Ibid. S. 39.

ягеллоновского мифов; актуализованный будущими поколениями, он давал подтверждение для чувства величия поляков и их претензии играть главную роль среди славянских государств»³⁷, – пишет Рудац-Гродзка. Трубы Болеслава лежат на дне Днепра, Одры и Балтийского моря, вечно исполняя свою песнь и подтверждая неизменность польских границ, которые не могут поставить под сомнение никакие исторические обстоятельства, и к которым Польша неизбежно должна вернуться.

Именно к объяснению генезиса этого образа обращается Гавроньский, отмечая, что возник он, очевидно, из-за того, что краковские средневековые историки никогда не были в Киеве, не видели этих мест, и поэтому в их воображении столбы легко превратились в трубы, а их расположение *над* Днепром – в затопление их *в* Днепре. Так пограничные столбы над Днепром превратились в «некие “железные трубы”, играющие от движения речных волн» и в «какие-то столбы, которые... были вбиты прямо в Днепр»³⁸. «На протяжении долгих веков, – завершает Гавроньский свое повествование о «столбах Болеслава», – над памятником нашей исторической славы пели бури и вихри скорбную песнь воспоминания, смешанную в единой гармонии с шумом речных волн, и, быть может, не одному поляку, затерявшемуся где-то на пути к Печерскому монастырю, напоминала она железную музыку Болеславовых мечей и далекие отголоски “труб”, возглашающих древнюю славу»³⁹.

Сколько-нибудь исчерпывающий анализ текстов польских романтиков не мог входить в наши планы. Скорее, нам хотелось на примере нескольких текстов известных и не очень известных авторов показать генезис двух образов события «начала», «истоков» Польши. Эти истоки отличаются временной глубиной (бездонная историческая древность в первом «народно-славянском» варианте и ранняя история польской государственности во втором, «имперском» варианте), в обоих случаях можно говорить об однократности и завершенности произошедшего, хотя, конечно, об установлении четких хронологических границ, особенно для первого, «славянского», случая, говорить сложно. Оба варианта «истоков» – события, формируемые интенционально, заинтересованным взглядом и отношением польских интеллектуалов, пытающихся осмыслить национальную историю и придать ей смысл после травматического разрыва. Функции обоих событий в качестве «мест памяти» схожи. Они являются основанием контрапрезентной памяти, обосновывающая неправомерность произошедшего со страной и необходимость возвращения к «исторической норме», представленной у «истоков» страны. Сама эта «норма» выглядела по-разному. Впоследствии, «польско-славянские» этнокультурные образы исконной польскости лягут в осно-

³⁷ Rudaś-Grodzka 2013. S. 113.

³⁸ Gawroński 1916. S. 40.

³⁹ Ibidem.

вание т.н. «ягелловской» модели польской нации, а «имперско-государственная» идея станет основой «ягеллоновской» ее модели. Образы исконно-польского идиллического демократического древнего славянского прошлого останутся в арсенале романтиков-оптимистов, а обращение к представлениям о сильном государстве как нормальном состоянии исконной Польши станет характерным для краковских «пессимистов-станчиков» второй половины XIX века.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: «Наука», 1986.
- Гердер И.Г. Идеи в философии истории человечества. М.: «Наука», 1977.
- Кареев Н. «Падение Польши в исторической литературе. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1888.
- Лотман Ю.М. О моделирующем значении понятий «конца» и «начала» в художественных текстах // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: «Искусство-СПБ», 2000. С. 427-430.
- Спиридонов Д.В. Проблема нарративной идентичности и историческая типология сюжета//Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2010. № 1-2. С.154-166.
- Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию: научно-учебное пособие для самостоятельной исследовательской работы. М.: Intrada, 2016.
- Davies N. Heart of Europe. The Past in Poland's Present. Oxford; N.Y.: OUP, 2001.
- Deptula Cz. Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 2000.
- Dołęga Chodakowski Z.O Sławiąnszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, opracował i wstępem opatrzył Julian Maślanka, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN 1967.
- Domańska E. (Re)creative Myths and Constructed History: The Case of Poland //Myth and Memory in the Construction of Community. Historical Patterns in Europe and Beyond/Ed. by Bo Stråth. Bruxelles etc. V. 9. 2000. P. 249-262.
- Gawroński F.R. Słupy Bolesława Wielkiego w Kijowie. Legenda, historia, hipoteza. Odbitka z „Czasu”. Kraków 1916.
- Janion M. Niesamowita Sławiąnszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków. Wydawnictwo etcLiterackie. 2006.
- Jedlicki J. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują: studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa. Wydawnictwo WAB: Wydawnictwo CiS. 2002.
- Kula M. Krótki raport o użytkowaniu historii. Warszawa, 2004.
- Maślanka J. Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Oddział w Krakowie, 1963.
- Mochnacki M. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Łódź. Wydawnictwo łódzkie, 1985.
- Mochnacki M Restauracja Polski// Maurycego Mochnackiego pisma rozmaite: Oddział porewolucyjny. Paryż, 1836.
- Moroz-Grzelak L. Herderowska filozofia dziejów w «przebudzeniu» narodów sławiąnskich // ΣΟΦΙΑ. 2006. № 6. S. 15-58.
- Ossowski S. Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Warszawa. 1966.
- Rudaś-Grodzka M. Sfinks sławiąnski I mumia polska. Warszawa. IBN PAN. 2013.
- Surowiecki W. O sposobach dopełnienia historii i znajomości dawnych słowian//Rocznik Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. T. 15. 1812. S. 82-119.
- Witkowska A. Sławiąnski mit początku// Pamiętnik Literacki LX, 1969, Z. 2. S. 3-39.

- Zerubavel E.P. *Calendars and History: A Comparative Study of the Social Organization of National Memory // States of Memory. Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection/* ed. by J.K. Olick. Durham, 2003a. P. 315–337.
- Zerubavel E. *Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past.* Chicago, 2003.

REFERENCES

- Blok M. *Apologiya istorii ili remeslo istorika.* M.: «Nauka», 1986.
- Gerder I.G. *Ideji v filosofii istorii chelovechestva.* M.: «Nauka», 1977.
- Kareev N. «Padenie Pol'shi v istoricheskoj literature. SPb.: Tipografiya V.S. Balasheva, 1888.
- Lotman Yu.M. O modeliruyushchem znachenii ponyatij «konca» i «nachala» v hudozhestvennyh tekstah // Idem. *Semiosfera.* Spb.: «Iskusstvo-SPB», 2000. C. 427-430.
- Spiridonov D.V. Problema narrativnoj identichnosti i istoricheskaya tipologiya syuzheta//*Dialog. Karnaval. Hronotop.* 2010. № 1-2. S. 154-166.
- Tyupa V.I. *Vvedenie v sravnitel'nyu narratologiyu: nauchno-uchebnoe posobie dlya samostoyatel'noj issledovatel'skoj raboty.* M.: Intrada, 2016.
- Davies N. *Heart of Europe. The Past in Poland's Present.* Oxford; N.Y.: OUP, 2001.
- Deptula Cz. *Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa sredniowiecznego,* Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000.
- Dołęga Chodakowski Z. *O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, opracował i wstępem opatrzył Julian Maślanka,* Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN 1967.
- Domańska E. (Re) creative Myths and Constructed History: The Case of Poland//*Myth and Memory in the Construction of Community. Historical Patterns in Europe and Beyond/Ed. by Bo Stråth.* Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt/M., New York, Wien, Multiple Europes – Volume 9. 2000. P. 249-262.
- Gawroński F.R. *Słupy Bolesława Wielkiego w Kijowie. Legenda, historia, hipoteza. Odbitka z „Czasu”.* Kraków 1916.
- Janin M. *Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury.* Kraków. Wydawnictwo Literackie. 2006.
- Jedlicki J. *Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują: studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku.* Warszawa. Wydawnictwo WAB: Wydawnictwo CiS. 2002.
- Kula M. *Krótki raport o użytkowaniu historii.* Warszawa, 2004.
- Maślanka J. *Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne.* Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Krakowie, 1963.
- Mochnacki M. *O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym.* Łódź. Wydawnictwo łódzkie, 1985.
- Mochnacki M. *Restauracja Polski // Maurycego Mochnackiego pisma rozmaite: Oddział porewolucyjny.* Paryż, 1836.
- Moroz-Grzelak L. *Herderowska filozofia dziejów w «przebudzeniu» narodów słowiańskich // ΣΟΦΙΑ.* 2006. № 6. S. 15-58.
- Ossowski S. *Więź społeczna i dziedzictwo krwi.* Warszawa. 1966.
- Rudaś-Grodzka M. *Sfinks słowiański I mumia polska.* Warszawa. IBN PAN. 2013.
- Surowiecki W. *O sposobach dopełnienia historii i znajomości dawnych słowian/Rocznik Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk.* T. 15. 1812. S. 82-119.
- Witkowska A. *Słowiański mit początku// Pamiętnik Literacki LX,* 1969, Z. 2. S. 3-39.
- Zerubavel E.P. *Calendars and History: A Comparative Study of the Social Organization of National Memory // States of Memory. Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection/* ed. by J.K. Olick. Durham, 2003a. P. 315–337.
- Zerubavel E. *Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past.* Chicago, 2003.

Васильев Алексей Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент, зам. директора Учебно-научного института «Русская антропологическая школа» РГГУ (Москва, Россия), экстраординарный профессор Института Центральной и Восточной Европы (Люблин, Польша); vasal2006@yandex.ru

Васильева Виктория Олеговна, кандидат философских наук, доцент Школы культурологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; vchistyakova@hse.ru

The images of “the origins” of Poland in the romanticist memorial narrative: creation of the event

The article aims to analyse the images of "the origins" of Poland in the Polish romanticism. "The origins" are considered as the historical events created by the Polish intellectuals in the process of development of post-traumatic memorial narrative after the Partitions in the second half of the XVIII century. The article is based on the approaches of memory studies, narrative analysis and the ideas of the Moscow-Tartu Semiotic School. The process of creation of two images of «the origins» is revealed. First of them is the image of folk, Slavic, ethno-cultural Polish prehistory, while the second one is the political, state-centered territorial «origin». Both of them appeared in the context of Romanticism and influenced the subsequent history of Polish culture.

Keywords: event, narrative, cultural memory, "origins", national identity, Polish romanticism, Joachim Lelewel, Zorian Dołęga Chodakowski, Maurycy Mochnacki

Alexey Vasilyev, PhD in History, Deputy Director of the «Russian School of Anthropology» Institute Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), Extraordinary professor Institute of East Central Europe (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej) (Lublin, Poland); vasal2006@yandex.ru

Victoria Vasilyeva, PhD in Philosophy, associate professor of the School of Cultural Studies of the National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), vchistyakova@hse.ru